ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

ЕЛИЗАВЕТА ВОДОВОЗОВА

ДНЕВНИКИ СМОЛЯНКИ

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ИНСТИТУТСКИХ НРАВАХ

Институт благородных девиц

Елизавета Водовозова

Дневники смолянки. Воспоминания об институтских нравах

«Алисторус»
2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Водовозова Е. Н.

Дневники смолянки. Воспоминания об институтских нравах / Е. Н. Водовозова — «Алисторус», 2017 — (Институт благородных девиц)

ISBN 978-5-906995-39-1

«…Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью – каждая знала, что ей придется отвечать; сочинения писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово… В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу…»Е. ВодовозоваЕлизавета Водовозова воспитывалась в небогатой дворянской семье. Она подробно описывает трагические и радостные события своей жизни, семейный уклад, учебу в Смольном институте, достоверно воссоздавая для читателей мир девочки, жившей в дореволюционной России. Честный и непредвзятый рассказ писательницы о нравах, царивших в Смольном, позволит вам по-другому взглянуть на эпоху балов и элегантных платьев.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-906995-39-1

© Водовозова Е. Н., 2017
© Алисторус, 2017

Содержание

Глава I 6
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Елизавета Водовозова
Дневники смолянки
Воспоминания об институтских нравах

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

* * *

Посвящаю мои воспоминания мужу – товарищу и другу

Глава I
Дореформенный институт

Смольный монастырь. – Прием «новеньких». – Начальница Леонтьева. – Ратманова. – Бегство Голембиовской

Институт в прежнее время играл весьма важную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц, как своих, так и чужих детей, очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немыслимо. В прежнее время в печати можно было говорить либо только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения: «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами: «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и т. п.

В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Мне кажется, не безынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями (Екатериною II и Бецким) были положены передовые идеи Западной Европы.

В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует «паче всего возбуждать в воспитываемых охоту к чтению книг, как для собственного увеселения, так и для происходящей от того пользы». Он вменяет в обязанность «вперять в них (детей) охоту к чтению» и ставит непременным условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность «возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как источника всякого зла и заблуждения». Он указывает на необходимость научить детей «соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких предерзостей». Мало того, для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество «невинными забавами», чтобы искоренять все то, что «скукою, задумчивостью и прискорбием назваться может». Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России *новую породу людей.*

Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствование, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества, – это понятно, но посмотрим, что представлял институт почти через сто лет после своего основания.

Смольный институт благородных девиц Санкт-Петербурга первое в России женское учебное заведение (1764), положившее начало женскому образованию в стране

В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моею матерью к Александровской половине Смольного (Смольный институт (основан в 1764 году) до начала в нем нововведений, то есть до 1860 года, состоял из двух учебных заведений: Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, или Александровской половины. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника, и потомственных дворян; на Александровскую половину – дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги[1]. Оба эти огромные заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через сто лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, то есть полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного получила особую начальницу и своего инспектора. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны, обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее. – *Примеч. Е. Н. Водовозовой*) с тем, чтобы вступив в него, оставаться в нем до окончания курса. Но высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости: все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг, что с ними мне будет очень

[1] В каждой губернии велась дворянским депутатским собранием родословная книга. В третью часть ее вносились лица, получившие дворянское звание на гражданской службе или с пожалованием орденом.

весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института.

Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, m-lle Тюфяева, по внешности особа весьма антипатичная, очень старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, m-me Сент-Илер, не может нас принять в данную минуту: «Вы не только опоздали на три месяца привезти ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к девяти часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь одиннадцать часов, и учителя заняты…»

Моя матушка и m-me Голембиовская начали извиняться, но m-lle Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную; при этом она не переставая ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах как скрип неподмазанных колес.

Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новою подругою, но это не удавалось: она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая: «Мама, мама!», а слезы так и лились из ее глаз.

Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить тридцатипятилетняя женщина на десятилетнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица, обе одеты были в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плерезами.

Не получив поощрения со стороны моей будущей подруги Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. M-me Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись с дочерью Фанни без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Г-жа Голембиовская занималась у него хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат выхлопотал для Фанни, своей племянницы, стипендию у какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт.

Прозвонил колокол, и к нам вошли пепиньерка[2] и учитель русского языка: первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обеих из французского языка, а учитель – из русского. Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обеих. Через несколько минут m-lle Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице, и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины.

Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием m-lle Тюфяевой; не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами:

– Где же девочки, тетя?

– Я тебе не тетя! Ты должна называть классных дам – mademoiselle…

[2] Воспитанницы педагогического класса назывались пепиньерками. Кроме слушания лекций в институте, они должны были дежурить в кофейном, то есть младшем, классе во время болезни классных дам и спрашивать в это время уроки у маленьких. Пепиньерки одевались лучше и красивее всех остальных воспитанниц: их Форменное платье – серое с черным передником, с кисейною, а по праздникам и с кружевною пелеринкою. В праздничные дни они пользовались правом уезжать по очереди домой. – Примеч. Е. Н. Водовозовой)

Сердитый окрик заставил меня замолчать. Но вот и приемная.

Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева[3] была в это время уже старухой с обрюзгшими и отвисшими щеками, с совершенно выцветшими глазами без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним[4].

Она действительно была немаловажною особой: начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала: этому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно пресмыкались перед нею[5]. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась как огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашею непосредственною начальницею была инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», но мы часто видели и нашу главную начальницу, Леонтьеву: ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных, каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями, она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на наши уроки или в столовую во время обеда, и, кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она кому-нибудь из нас сказала ласковое, сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя малейшее участие к больной, которая, как ей было известно из ежедневно подаваемых рапортов, пролежала в лазарете несколько меся-

---

[3] Урожденная Шилова, Мария Павловна получила образование в Смольном. Вскоре после окончания ею курса императрица Мария Федоровна назначила ее фрейлиной к своей дочери, великой княгине Екатерине Павловне, вышедшей впоследствии замуж за принца Георгия Ольденбургского. Затем Мария Павловна Шилова вышла замуж за генерала Леонтьева, но когда ей было 45 лет, она овдовела и была пожалована императрицей Александрой Федоровной гофмейстериной ко двору своей дочери, великой княгини Марии Николаевны, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским. В 1839 году Леонтьеву назначили начальницею в Смольный, где она прослужила тридцать шесть лет и умерла на своем посту восьмидесятидвухлетней старухою. Таким образом, сорок пять лет своей жизни Леонтьева провела в институте, из них девять лет как воспитанница, а тридцать шесть лет как его начальница. – Примеч. Е. Н. Водовозовой.

[4] Это подтверждают и другие мемуаристы. А. Лазарева в своих «Воспоминаниях воспитанницы Патриотического института дореформенного времени» пишет: «Не говоря о г-же Леонтьевой, поставившей себя в исключительное положение, но и последующие начальницы продолжали держать себя с высокомерною неприступностию и считались в институте какими-то недосягаемыми божествами. Нужно думать, что благодаря этому и некоторые порядки, описанные г-жой Водовозовой, продолжали еще долго царствовать в Смольном» (Русская старина. 1914. № 8. С. 230).

[5] О духе раболепства и угодничества, царившем в Смольном, сохранились и другие свидетельства современников, например, запись в дневнике одной из классных дам института (в прошлом его воспитанницы) – Варвары Петровны Быковой, сделанная ею накануне вступления в должность, 22 апреля 1846 года: «…Меня пугает начальство… лишение свободы, раболепный тон, вечная тревога… мелкие неизбежные столкновения». Спустя несколько лет она записывает: «…Нужда и горе приучили переносить унижения… большею частью смиренно стою пред начальством и жду, когда отпустят или пригласят сесть» (Быкова В. П… Записки старой смолянки (1833–1878), ч. I, СПб., 1898. С. 152 и 268).

цев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе, как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое Евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов, и не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница ни произнесла «святый боже», «божественный», «тысяча», «человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвешивали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс!» А когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо!»

Елизавета Николаевна Водовозова (1844–1923) – русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога Василия Ивановича Водовозова

В церкви мы стояли стройными рядами, но как только входила начальница, она начинала все перестраивать по-своему: воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких – к клиросу; в другой же раз вытягивала на средину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов, и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все «материнские» заботы начальницы Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашею начальницею, без преувеличения можно сказать, была не женщина, а просто какой-то камен-

ный истукан, даже в то рабское, крепостническое время поражавшая всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты государыне дышат необыкновенною добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 году Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послушны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую, многочисленную семью!» (Статс-дама Мария Павловна Леонтьева / сост. З. Е. Мордвинова. С. 85, 93).

По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего со здравым смыслом, начальница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам: она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов, до смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам вдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконический ответ: «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое.

Когда мы, новенькие, в первый раз подходили к приемной начальницы, мы встретили здесь наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении m-lle Тюфяевой. В огромной приемной, обставленной на казенный лад, у стены против входной двери сидела на диване начальница Леонтьева, а подле нее на стуле ее компаньонка Оленкина[6].

– Мама! Мама! – вдруг закричала Фанни, бросаясь в объятия матери. Этот крик раздался совершенным диссонансом среди гробовой тишины.

Начальница чуть-чуть приподняла голову, что для Оленкиной, видимо, послужило сигналом узнать фамилии новоприбывших, так как она быстро подошла к нашим матерям, а затем начала что-то шептать на ухо начальнице.

– Потрудитесь подойти! Сюда! Ближе! Я, прежде всего, попрошу вас покончить с этою сценой… Можете садиться! – И Леонтьева величественным жестом указала Голембиовской на стул против своего стола. Фанни подбежала к матери и крепко вцепилась в ее юбку.

– Видите ли, – снова обратилась начальница к Голембиовской, – каких недисциплинированных, испорченных детей вручаете вы нам!

– Испорченных? – переспросила Голембиовская с изумлением, в своей провинциальной простоте не понимавшая ни величия начальницы, ни того, как с нею следует разговаривать. – Уверяю вас, сударыня, что моя Фанни послушная, ласковая, привязчивая девочка!.. А то вдруг «испорченная»! Как же это можно сказать, не зная ребенка!

В ту же минуту над ее стулом наклонилась компаньонка Оленкина и шепотом, который был слышен во всей комнате, произнесла, отчеканивая каждое слово:

– Должны называть начальницу – ваше превосходительство. Вы не имеете права так *вольно* разговаривать с ее превосходительством! Извольте это запомнить!

– Извините, ваше превосходительство, – заговорила переконфуженная Голембиовская. – Я вас назвала не по титулу… Я ведь провинциалка! Всех этих тонкостей не разумею… Все же

[6] Речь идет об А. П. Олонкиной, приемной дочери О. П. Шишкиной, институтской подруги М. П. Леонтьевой. После смерти Шишкиной Леонтьева поселила Олонкину у себя в Смольном в качестве компаньонки (см. Мордвинова З. Е. Статс-дама Мария Павловна Леонтьева, СПб., 1902. С. 50).

о своей девочке опять скажу вам: золотое у нее сердечко! Будьте ей матерью, ваше превосходительство! Она ведь у меня сиротка! – И слезы полились из глаз бедной женщины.

– Мне страшно, мама! – вдруг со слезами в голосе завопила ее дочь.

– Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен! Извольте выйти в другую комнату с вашей дочерью и ждать классную даму.

Тогда к начальнице подошла моя мать и начала рекомендовать себя на французском языке, которым Голембиовская не сумела воспользоваться, хотя свободно говорила на нем. В то время знание французского языка облагораживало и возвышало каждого во мнении общества, тем более громадное значение оно имело в институте. Вероятно, вследствие этого начальница благосклонно кивнула ей головой, но когда моя мать выразила свое удовольствие по поводу того, что ее дочь принята на казенный счет и получит образование, которого она за отсутствием материальных средств не могла бы дать сама, Леонтьева возразила ей не без иронии: «Если бы вы понимали, какое это счастие для вашей дочери, вы могли бы в назначенное время доставить ее сюда!» – и, кивнув головой в сторону m-lle Тюфяевой, она показала этим, что аудиенция окончена.

Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы – в сопровождении Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой экзаменовались, наши матери уже сидели в ней. Фанни не замедлила броситься со слезами в объятия своей матери. M-lle Тюфяева резко заметила:

– Прошу прекратить этот рев!.. Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность!

– Ах, милая mademoiselle Тюфяева, – с мольбой обратилась к ней Голембиовская, – скажите ей хоть одно ласковое словечко… хоть самое маленькое!.. Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает…

– Трепыхает! Это еще что за выражение! «Молчать!» – вот что вы должны сказать вашей дочери! Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились обеспокоить, а тут опять начинаете ту же историю! – И она направилась к двери.

– Покорись, дитятко! Перестань плакать, сердце мое! – покрывая дочь страстными поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них. – Что же делать, дитятко! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены!

– А! – прошипела Тюфяева. – Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери!

Maman и институтки. Иллюстрация к книге Елизаветы Водовозовой. Художник – Е. Самокиш-Судковская.

«Мы никогда ничего, кроме учебников, не читали. Даже в старших классах институтки увлекались небылицами, верили в чудеса. Классные дамы никогда не боролись с этим, а наказывали только за нарушение тишины и порядка. Сами крайне невежественные, они заботились только о красивом произношении французских слов, о хороших манерах, о посещении церкви» (Елизавета Водовозова)

Моя мать, испуганная за Голембиовскую и понимая, как это может повредить ее дочери, подбежала к Тюфяевой и начала умолять ее:

– Сжальтесь… Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии!

M-lle Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол. Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных и бесчувственную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать. Я наскоро простилась с моею матерью, и так как передо мной уже выросла Тюфяева, я отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я как-то машинально проделывала все, что мне приказывали, и очнулась от рассеянности только тогда, когда прозвонил колокол. Девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.

– Молчать! Становиться по парам! – кричит классная дама Петрова и устанавливает воспитанниц по росту пару за парой – маленьких впереди, девочек более высокого роста – позади. То одна воспитанница выдвинется несколько вбок, то другая подастся вперед, – классная дама сейчас же равняет таких: немедленно подбегает к ним, одну толкает назад, ее соседку двигает вперед, кого ставит правее, некоторых дергает влево и, наконец, в строгом порядке ведет в столовую, выступая впереди своего отряда. По институтским правилам требовалось, чтобы воспитанницы, куда бы они ни отправлялись, выступали как солдаты, представляя стройную колонну, и двигались без шума. Если предводительница этой женской армии прибавит шагу, – и воспитанницы должны идти скорее, не расстраивая колонны; при этом они обязаны молчать; если одна из воспитанниц произносила хотя слово, такое преступление редко оставалось безнаказанным, особенно в кофейном классе.

Трудно представить, как много времени уходило на установку по парам. В столовую водили четыре раза в день (на утренний и вечерний чай, к обеду и завтраку), следовательно, туда и назад по парам строились восемь раз; то же делали, когда отправлялись на прогулку и возвращались после нее; таким образом, тратили более часу времени, а по субботам и праздникам, когда приходилось отправляться в церковь, и еще того больше.

В то время, которое я описываю, начальство института уже не имело права давать волю рукам: оттрепать по щекам или избить чем попало по голове, высечь розгами, как это бывало раньше, в мое время не практиковалось даже и в младшем классе, но толчки, пинки, весьма чувствительное обдергивание со всех сторон, брань, бесчисленные наказания, особенно в младшем классе, были обычными педагогическими воздействиями.

К молчанию и безусловному повиновению институток приучали весьма систематично. Впрочем, на женщину в то время вообще смотрели как на существо, вполне подчиненное и подвластное родителям или мужу, – институт стремился подготовить ее к выполнению этого назначения, но чаще всего достигали совершенно противоположных результатов. От нас требовалось или молчание, или разговор полушепотом, и так в продолжение всего дня, кроме перемен между уроками, когда громкий разговор не вызывал ни окрика, ни кары. Наиболее суровые классные дамы ограничивали и суживали даже ничтожные привилегии «кофулек» (воспитанниц младшего класса), которым по праздничным дням вечером дозволялось бегать, играть и танцевать. Как только они поднимали шум и возню даже в такие дни, классные дамы кричали: «По местам! вы не умеете благопристойно держать себя!» Дети послушно садились на скамейки и, получая постоянно нагоняй за резвость, все реже предавались веселью.

Как ни была жива и шаловлива девочка при поступлении в институт, суровая дисциплина и вечная муштровка, которым она подвергалась, а также полное отсутствие сердечного участия и ласки быстро изменяли характер ребенка. Если девочка свыкалась с институтским режимом, а наклонность к шаловливости еще не совсем пропадала в ней, ее неудержимо влекли к себе глупые и пошлые шалости.

Когда я в первый раз вошла в столовую, меня удивило огромное число наказанных: некоторые из них стояли в простенках, другие сидели «за черным столом», третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой, но мое любопытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколота какая-то бумажка, у другой – чулок. Когда после пения молитвы мы уселись за завтрак, я больше уже не могла

выносить молчания и стала расспрашивать соседку, можно ли разговаривать; та отвечала, что можно, но только тихонько. И меня с двух сторон шепотом начали просвещать насчет институтских дел. Когда у девочки приколота бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его, или не сделала этого вовсе, а за что наказаны старшие воспитанницы (белого класса) – нам, кофейным, неизвестно.

После завтрака нас повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры и камлотовые салопчики, чтобы отправиться в сад на прогулку. Институтский туалет в дореформенный период отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхнею одеждою и бельем воспитанницы должны были довольствоваться что кому попадало. Нередко девочке весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарусные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, чем на детей и молоденьких девушек.

Воспитанницы гуляли в саду по получасу, и притом только по мосткам, как всегда, по парам, под предводительством классной дамы и нередко под аккомпанемент ее воркотни и распеканий. Она находила для этого много поводов: то ей досаждал «дурацкий смех» кого-нибудь из воспитанниц, то пилила она тех, которые отставали от других или чуть-чуть выходили из пары, то за то, что кто-нибудь на минуту соскакивал с мостков. Воспитанницы ненавидели эти прогулки и были бесконечно счастливы, когда их находчивость помогала им сослаться то на ту, то на другую несуществующую болезнь, чтобы избавить себя от этой неприятной повинности. Через полчаса после прогулки мы возвращались в том же порядке.

Меня, как новенькую, отправили к кастелянше, которая оказалась женщиною добрейшей души. Вообще нельзя сказать, чтобы в институте совсем не было хороших людей. Кроме нее, обе лазаретные дамы, а также и доктор были весьма добрые существа. Но замечательно, что все эти личности не играли ни малейшей роли в институте и только в экстренных случаях сталкивались с воспитанницами. К тому же все они жили своею особою жизнью, обособленною от институтского мира, что и давало им возможность сохранить душу живу.

– Что же ты так грустна, милая девочка? – ласково спросила меня кастелянша. Это было первое ласковое слово, которое я услыхала в стенах института, и вместо ответа я припала к ее плечу и залилась слезами. Она дала мне выплакаться, напоила меня кофеем и усадила к столу.

– Жаль, что тебя не привезли к общему приему, тремя месяцами раньше: тебе было бы легче привыкать вместе с другими новенькими.

На мой вопрос, почему классные дамы такие сердитые, она отвечала:

– Потому что у них своих крошек не было. Запомни, детка: как можно меньше с ними разговаривай, – они и придираться меньше будут к тебе.

Доброе отношение милой женщины успокоило меня, и, примеривая то одно, то другое, я выражала свое удивление:

– Какая рубашка! Ведь она свалится с плеч! А эта у меня до полу доходит.

– Меньше нет: все белье шьется у нас по безобразным образцам. Зато в длинной рубашке теплее будет спать. Ночью у вас холодно: ваши одеяла ветром подбиты, спите вы без ночных кофт, – длинной рубашкой хоть ноги себе обмотаешь.

Наконец я превратилась в казенную воспитанницу. На мне надето было плохо сидевшее камлотовое платье коричневого цвета – символ младшего класса; оно было декольте и с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавчики, подвязанные тесемками под рукавами платья; на голую шею накидывали уродливую пелеринку; белый передник с лифом, который застегивался сзади булавками, довершал костюм. Пелеринка, рукавчики, передник были из грубого белого холста и по праздникам заменялись коленкоровыми.

Форма чрезвычайно меняла наружность новенькой: даже грациозная миловидная девочка казалась в ней неуклюжей. Камлотовое платье было настолько коротко в младшем классе, что выставляло напоказ жалкие кожаные башмаки, которые скорее можно было назвать туфлями или шлепанцами, и грубые белые нитяные чулки. Пока новенькая не умела приноровиться к своему форменному наряду так, чтобы ее безобразные туфли не падали с ног, чтобы рукавчики не сползали, чтобы платье не расстегивалось позади, она ходила, тяжело ступая, и имела крайне неуклюжий вид. В первый раз на свидании с родными новенькая обыкновенно поражала их своею переменой, и они, не стесняясь, повторяли на все лады: «Какой смешной наряд! Как он тебя безобразит!». К тому же, этот наряд совсем не был приноровлен к условиям жизни: холщовая пелеринка, накинутая на плечи, не защищала от зимнего холода, когда термометр в классе показывал десять и даже девять градусов, а во время уроков приходилось сидеть с обнаженными плечами.

Воспитанница Смольного института в камлотовом платье. 1889 г.

Не успела я еще переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка с замечательно симпатичным лицом и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает моя сестра.

Нужно заметить, что в Петербург со мною приехала не только матушка, но и обе мои сестры: старшая, Нюта, которая была уже вдовою, несмотря на свой девятнадцатилетний возраст, и Шура. Им очень хотелось присутствовать на моем приемном экзамене, но матушка

побоялась, что это не будет дозволено институтским начальством. Однако Шура не могла утерпеть, чтобы не посетить меня в тот же день.

Какой это был для меня приятный сюрприз! Когда я увидала Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов о тяжелом впечатлении, произведенном на меня институтом.

– Дурная, дурная ты у меня девочка, – нежно журила она меня. – Чуть что нехорошо, тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь! От матушки я уже знаю, что было у вас утром… Что же делать! Но не все же дурно? Я только что вошла сюда и сейчас же нашла, что и тут есть сердечные люди! Я ведь не рассчитывала, что мне удастся увидеть тебя сегодня: думаю – узнаю хоть от швейцара, что ты теперь поделываешь… Вхожу и встречаю ту прелестную молодую девушку – пепиньерку, которая тебя привела сюда, объясняю ей, что моя семья останется в Петербурге лишь полторы недели, прошу ее посоветовать мне, у кого бы похлопотать о возможности видеться с тобою ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь! Она потащила меня за собой и говорит: «Я поведу вас к инспектрисе, я ее родная дочь, и уверена, что она устроит для вас все, что возможно». И знаешь, я просто была очарована вашей инспектрисою![7] Хотя она сегодня совсем больна, но меня поразила ее красота, изящество, ее привлекательные манеры! Она позволила нам всем посещать тебя ежедневно в продолжение полутора недель.

Свидание с любимою сестрою совершенно изменило мое настроение: все тяжелое, что я испытала и перечувствовала в тот день, исчезло без следа, и я отправилась в дортуар (спальню) уже к своей классной даме[8]. Нужно заметить, что, поступив в дортуар к той или другой даме, воспитанница вместе с нею переходила из одного класса в другой, одним словом, была под ее руководством во все время своего воспитания. Так устроено было для того, чтобы классная дама могла хорошо изучить характеры вверенных ей тридцати, а то и более воспитанниц, привязаться к ним всею душой, сделаться для них истинною наставницею, руководительницею, матерью. Но при мне эти родственные узы проявлялись в одном: если воспитанница была накануне наказана не своею дамою, она обязана была заявить об этом на другой же день своей дортуарной даме. Узнав об этом, дама обыкновенно находила необходимым наказать во второй раз ту, которая была уже наказана накануне. Я поступила к классной даме m-lle Верховской, в то время когда в другом отделении классною дамою была Тюфяева.

– Покажи-ка, как тебя нарядили? – спросила меня m-lle Верховская.

– Башмаки с ног падают… – пожаловалась я.

– А ты еще крепче рассердись, тогда тебе уже наверное пришлют изящные ботинки, – мило пошутила m-lle Верховская.

Воспитанницы, обрадованные веселым настроением своей дамы, громко засмеялись.

– Ах, тетечка, – вдруг закричала я в восторге от того, что поступила к такой, как мне показалось, веселой и доброй даме. – Какая вы добрая! Какая вы красавица! – И я бросилась к ней на шею и расцеловала ее в губы. Воспитанницы, поступившие в институт за три месяца до меня и уже успевшие освоиться с институтскими нравами, с ужасом наблюдали эту сцену.

---

[7] А. К. Сент-Илер, бывшая воспитанница Смольного, получила место инспектрисы Александровской половины после смерти мужа, преподавателя французского языка. Она «была прекрасно образованна, отлично знала французский и немецкий языки и преподавала нам (своим детям) все учебные предметы», – писал впоследствии ее сын, известный педагог К. К. Сент-Илер (Воспоминания казенного пансионера о третьей СПб. Гимназии // Русская школа. 1898. № 4. С. 31).

[8] В дореформенное время воспитанницы Александровской половины делились на два класса: на младший (кофейный) и старший (белый) в зеленых платьях. В том и другом из них они оставались по три года. Каждый класс делился на два отделения, а каждое отделение – на два дортуара; один из них находился под руководством одной, другой – под руководством другой классной дамы. Воспитанницы одного дортуара спали в одной спальне и были связаны между собою теснее, чем с подругами другого дортуара, хотя они и были с ними в одном отделении, сидели в одной общей классной комнате, – учились у одних и тех же учителей. Так как в каждом отделении было по два дортуара, а следовательно, и по две классных дамы, то они дежурили в классе по очереди, и одна из них в свободное время могла уезжать из института. – Примеч. Е. Н. Водовозовой.

Поцеловать классной даме руку или плечо не только дозволялось, но считалось похвальною почтительностью, поцеловать же ее в губы было верхом неприличия и фамильярности; впрочем, это случалось только с новенькими, да и то в редких случаях.

– Ну, милейшая моя племянница, это, знаешь ли, чересчур нежно. Здесь это не принято, – отстраняя меня, сказала m-lle Верховская. – К тому же ты должна всех классных дам называть «mademoiselle», а не «тетечка». Через неделю-другую, когда ты будешь уже не новенькая, а старенькая, ты должна будешь это твердо помнить.

Все это, однако, было сказано очень мило. Затем мы по очереди должны были подходить к ней и читать по-русски и по-французски. Наконец она ушла в свою комнату.

Когда мы остались одни, девочки окружили меня и стали закидывать вопросами. Но когда я выразила радость по поводу того, что поступила не к Тюфяевой, которая мне очень не понравилась, а к Верховской, воспитанницы потянули меня к двери дортуара, на противоположном конце которого находилась комната нашей дамы, говоря, что тут будет менее слышен наш разговор. Перебивая друг друга, они сообщали мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но меня это не взволновало: я подумала, что девочки сами сильно шалили. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и послушной, чтобы по окончании курса получить золотую медаль, как я это обещала моей любимой сестре и матушке.

– А ты зачем подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую в губы? – накинулась на меня одна из подруг, по фамилии Ратманова. Я очень переконфузилась, не зная, что ответить. Но тут все девочки стали меня защищать, оправдывая мой поступок тем, что я новенькая, и просили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к табурету, в ящике которого уже стояла моя шкатулка. Для удобства мы опустились на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для пера, перочинные ножички и другие классные принадлежности.

– Ну, это неинтересно! – отрезала Ратманова. Это была худощавая, высокого роста девочка, с смеющимися глазами навыкате, портившими ее миловидное нервное подвижное лицо, придавая ему насмешливое, иногда даже наглое выражение.

– Почему же не интересно? – в обиде за меня перебила ее Ольхина, болезненная бледная девочка с синими глазами. – Ратмановой всегда нравится только то, что дорого стоит и нарядно!

– А ты любишь только гадость!.. Недаром ты постница и богомолка! – бросила ей Ратманова.

– Перестаньте браниться! Пусть новенькая покажет нам все, что у нее есть, – кричали со всех сторон.

Я сняла верхнее отделение своей шкатулки, которое кроме классных принадлежностей было занято конфетами с картинками. Каждой девочке я дала по конфетке и одну из них протянула Ратмановой.

– Я не нуждаюсь в такой дряни! – запальчиво закричала она, бросая назад поданное ей. – Если хочешь мне что-нибудь подарить, дай мне вот эту конфетку, – и она указала на самую лучшую. Но она так нравилась мне самой, что я сильно поколебалась и, чувствуя, что краснею, в замешательстве наклонилась над шкатулкой.

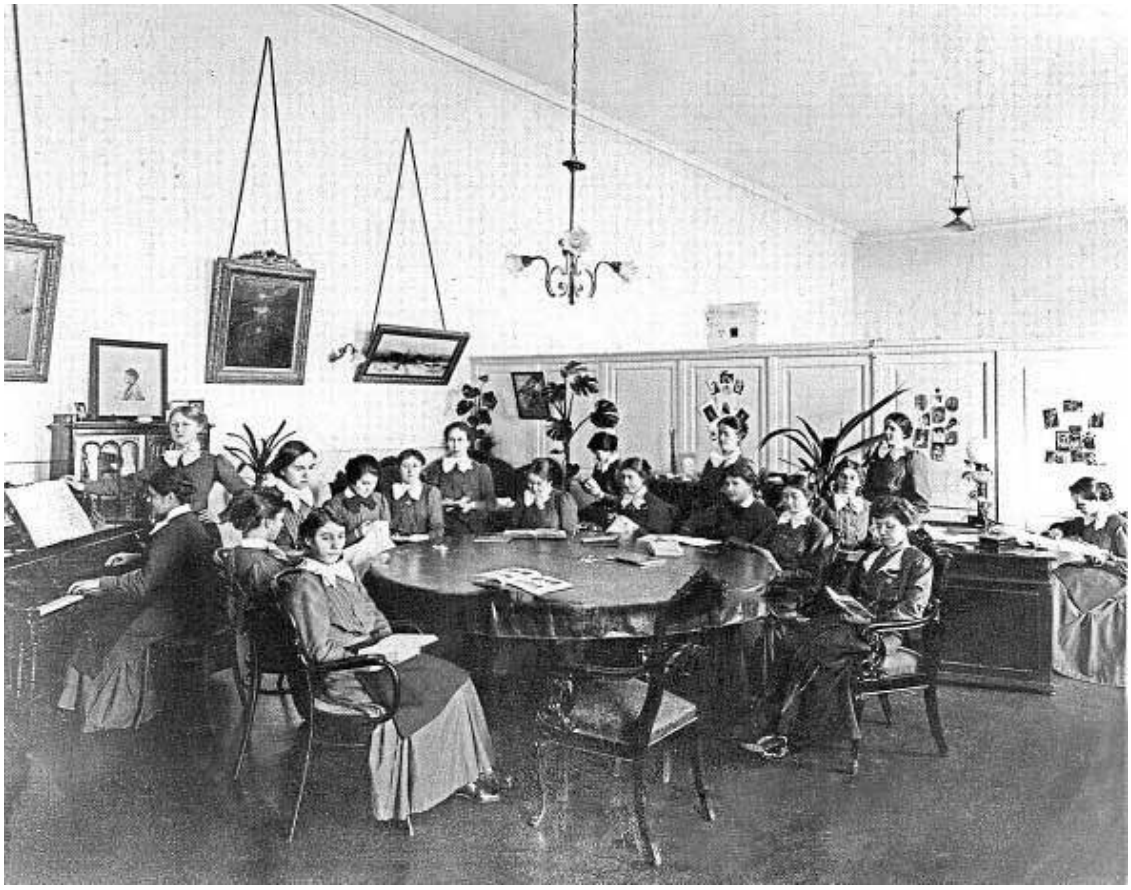
– Ишь, жаднюга! – насмешливо воскликнула Ратманова.

– Нет, нет! Это я только так… Возьми! – и я испуганно подала ей то, что она просила. – А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, – говорила я девочкам, окружавшим меня, и вынула со дна шкатулки большую коробку, наполненную мелкими стружками, среди которых симметрично разложены были птичьи яички. – Это яичко жаворонка… воробушка… голубиное… воронье…

– Вороньи яйца!.. Эко диво! Ах ты, деревенщина! – захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, из которого вывалились и разбились все мои яички, мое сокровище, которое я берегла столько лет. Я отчаянно зарыдала.

– Какая ты злая, гадкая! – бросила Ольхина по адресу Ратмановой, которая нисколько не была сконфужена этими эпитетами. С торжествующей улыбкой на губах, точно после геройского подвига, направилась она в другой конец дортуара.

Мне не только жаль было крошечных яичек, к которым я всегда чувствовала нежность, но они дороги были мне и потому, что будили воспоминания о горячо любимой няне, с которою я собирала их в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же меня неприятно поразила такая грубость, такая мальчишеская выходка в институте.



Воспитанницы Смольного института в гостиной. 1889 г.

Маша Ратманова играла большую роль в нашей жизни, а потому я и хочу познакомить с нею, какою она была не только в младшем, но и в старшем классе. Ее мать овдовела, когда дочери было около года. Не имея никаких средств к жизни, она была рада, что представилась возможность поселиться с ребенком на бесплатной половине Вдовьего дома Смольного. Жиличками этого учреждения были жены умерших офицеров, а также средней руки чиновников военного и гражданского ведомства. В громадном большинстве случаев это все были старые, необразованные женщины, которые, как собаки, с утра до вечера грызлись между собой, уличали друг друга бог знает в каких преступлениях и скандалах, подобранных, вероятно, от таких же жалких существ, какими они были сами. Таким образом, Маша Ратманова свое раннее детство провела среди бранчливых, пошлых старух, полувыживших из ума от непрекращающихся интриг, дрязг и ссор. После жизни во Вдовьем доме, которая могла заложить в душу ребенка лишь дурные склонности и безнравственные привычки, она на девятом или десятом

году жизни поступила в институт. Институтское воспитание того времени не могло благоприятно повлиять на кого бы то ни было, Ратманову же оно испортило еще более. Вечные окрики классных дам, наказания за всякое проявление живости, муштровка и суровая дисциплина все более ожесточали ее сердце, но не могли окончательно подавить живость этой на редкость подвижной натуры, остроумной и от природы весьма неглупой девочки. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это возбуждало неудовольствие классных дам. А между тем ее неугомонная натура требовала шума, крика, возни. И эту потребность она начала удовлетворять исподтишка, когда из класса на время уходила дежурная дама. Тогда из одного конца коридора в другой раздавались ее раскатистый хохот, крик, визг, перемежавшиеся фырканьем, слышался шум от ее беготни. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, сыпалось на ее бесшабашную голову и множество других наказаний. Шаловливая, нервная, невоспитанная, резкая, невоздержанная на язык, обозленная до невероятности, Маша Ратманова стала грубить напропалую и получила наконец эпитет «отчаянной», который неотъемлемо остался за нею во все время институтского воспитания.

Она досаждала, однако, не только классным дамам, но и подругам, симпатиею которых тоже не пользовалась. Вечно изощряясь в школьничестве, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. В старшем классе ее мальчишеские шалости сменились другими: во время урока она то и дело оборачивалась к воспитанницам, сидевшим сзади нее, делала гримасы или посредством мимики своего подвижного лица в комическом виде изображала учителя, классную даму, подругу. С таким же индифферентизмом и бессердечием она высмеивала не только комичные стороны, которые легко схватывала, но и физические недостатки подруг, – особенному высмеиванию подвергала она дурнушек. Еще более отталкивала от нее подруг ее привычка делать намеки на то, чего тогда не ведал еще никто. В разговоре или споре с товарками она вдруг произносила какое-нибудь слово или фразу, что-то показывала руками и как-то при этом особенно нагло фыркала в лицо, обзывая каждую дурой и тупицей. Я глубоко убеждена в том, что в то время никто из нас не понимал, в чем дело, но каждая инстинктивно чувствовала, что это должно быть что-нибудь скверное, постыдное, и здоровый инстинкт заставлял нас, несмотря на любопытство, столь присущее женскому полу, не приставать к ней с расспросами о том, что она хотела сказать тем или другим намеком или жестом.

Она была очень щедра, но и это проявляла довольно грубо: почти все свои гостинцы она раздавала подругам, исключая «парфеток». «Парфетками» институтки называли тех из своих подруг, к которым благоволили классные дамы за их послушание и отменное поведение, проявлявшееся нередко в наушничанье на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих «парфеток» и называла их не иначе, как «подлипалками», «подлизалками», «подлянками», «мовешками» и т. п. Если она входила с гостинцами в то время, когда воспитанницы сидели в дортуаре, она швыряла их кому на кровать, кому прямо в лицо. Смеялись и брали, а тем, которые при этом благодарили ее за них, она высовывала язык или делала почтительный книксен с придачею отвратительной гримасы, а потому впоследствии уже никто не совался к ней со своею благодарностью. Однако мне пришелся не по душе этот способ угощения, и я каждый раз швыряла ей назад дары тем же способом, каким получала их. Это заставило ее переменить относительно меня способ угощения. Она начала засовывать для меня гостинцы куда попало: ложась в кровать, я иногда находила под подушкой то яблоко, то несколько леденцов.

Теперь таких субъектов, как Маша Ратманова, называют психопатками. И всею своею последующею жизнью она вполне доказала, что была таковою, но тогда этот термин еще не был изобретен. Тем не менее подруги в душе считали ее вконец испорченной, но боялись высказывать это вслух, чтобы это не дошло до нее, и все старались держаться подальше от нее. Я

бы прибавила еще, что ее общество приносило подругам гораздо больше вреда, чем пользы, если бы не одна редкая и замечательно хорошая черта ее характера. Маша Ратманова будила в нас общественные инстинкты, если можно так выразиться о нас, девочках, в то время совсем неразвитых.

За тяжелые провинности, с точки зрения классных дам, они наказывали тем, что запрещали воспитанницам разговаривать с провинившеюся. Ратманова первая начала возмущаться повиновением подруг такому нелепому распоряжению и, несмотря на строгое запрещение, начала разговаривать с наказанною, а затем нападать на тех, которые подчинялись этому требованию дам. Хотя она ни с кем из подруг не дружила особенно, но всю нежность своей души, все внимание проявляла к каждой наказанной, а тем более к той, которая особенно сильно дерзила классной даме. За наказанную она распиналась сколько хватало сил.

Одна из наиболее распространенных кар в институте состояла в том, что нас заставляли стоять за обедом или завтраком. Есть стоя было очень неудобно; к тому же, не только классные дамы, но и подруги высмеивали воспитанниц, которые ели во время такого наказания. Маша Ратманова, когда подросла, как ястреб начала следить за тем, чтобы воспитанница, наказанная таким образом, получала от соседок все кушанья, но так как суп при этом пропадал, то она, обращаясь к наказанной, говорила так, чтобы слова ее доходили до ушей классной дамы: «Отчего ты супа не ешь? Если бы было дозволено наказывать нас без еды, сколько бы народу у нас подохло от голоду!» Сильно нападала она на тех, которые издевались над подругами за еду во время наказания: она осыпала их градом бранных, грубых слов из своего собственного лексикона, который у нее был весьма обширен. В старшем классе она беспощадно казнила предательство: сплетниц и доносчиц она не только изводила неистовым издевательством, но неожиданно и исподтишка толкала их и щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее; и это проделывала она вплоть до самого выпуска, когда уже была взрослою девушкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.